

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

В. И. Ленин. Максим Горький

Владимир Ленин умер.

Даже некоторые из стана врагов его честно признают: в лице Ленина мир потерял человека, «который среди всех современных ему великих людей наиболее ярко воплощал в себе гениальность».

Немецкая буржуазная газета «Prager Tageblatt», напечатав о Ленине статью, полную почтительного удивления пред его колоссальной фигурой, закончила эту статью словами:

«Велик, недоступен и страшен кажется Ленин даже в смерти».

По тону статьи ясно, что вызвало её не физиологическое удовольствие, цинично выраженное афоризмом: «труп врага всегда хорошо пахнет», не та радость, которую ощущают люди, когда большой беспокойный человек уходит от них, – нет, в этой статье громко звучит человеческая гордость человеком.

Пресса русской эмиграции не нашла в себе ни сил, ни такта отнестись к смерти Ленина с тем уважением, какое обнаружили буржуазные газеты в оценке личности одного из крупнейших выразителей воли к жизни и бесстрашия разума.

Писать его портрет – трудно. Ленин, внешне, весь в словах, как рыба в чешуе. Был он прост и прям, как всё, что говорилось им.

Героизм его почти совершенно лишён внешнего блеска, его героизм – это нередкое в России скромное, аскетическое подвижничество честного русского интеллигента-революционера, непоколебимо убеждённого в возможности на земле социальной справедливости, героизм человека, который отказался от всех радостей мира ради тяжёлой работы для счастья людей.

То, что написано мною о нём вскоре после его смерти, – написано в состоянии удручённом, поспешно и плохо. Кое-чего я не мог написать по соображениям «такта», надеюсь вполне понятным. Проницателен и мудр был этот человек, а «в многотрудности – много печали».

Далеко вперёд видел он и, размышляя, разговаривая о людях в 19–21 годах, нередко и безошибочно предугадывал, каковы они будут через несколько лет. Не всегда хотелось верить в его предвидения, и нередко они были обидны, но, к сожалению, не мало людей оправдало его скептические характеристики. Воспоминания мои о нём написаны, кроме того что плохо, ещё и непоследовательно, с досадными пробелами. Мне следовало начать с Лондонского съезда[1], с тех дней, когда Владимир Ильич встал передо мною превосходно освещённый сомнениями и недоверием одних, явной враждой и даже ненавистью других.

Я и сейчас вот всё ещё хорошо вижу голые стены смешной своим убожеством деревянной церкви на окраине Лондона, стрельчатые окна небольшого, узкого зала, похожего на классную комнату бедной школы. Это здание напоминало церковь только извне, а внутри её – полное отсутствие предметов культа, и даже невысокая кафедра проповедника помещалась не впереди, в глубине зала, а – у входа в него, между двух дверей.

До этого года я не встречал Ленина, да и читал его не так много, как бы следовало[2]. Но то, что удалось мне прочитать, а особенно восторженные рассказы товарищей, которые лично знали его, потянуло меня к нему с большой силой. Когда нас познакомили, он, крепко стиснув мне руку, прощупывая меня зоркими глазами, заговорил тоном старого знакомого, шутливо:

– Это хорошо, что вы приехали! Вы ведь драки любите? Здесь будет большая драчка.

Я ожидал, что Ленин не таков. Мне чего-то не хватало в нём. Картавит и руки сунул куда-то под мышки, стоит фертом. И вообще, весь – как-то слишком прост, не чувствуется в нём ничего от «вождя». Я – литератор. Профессия обязывает меня подмечать мелочи, эта обязанность стала привычкой, иногда – уже надоедливой.

В. И. Ленин. Максим Горький gor.kiutamix.ru

Когда меня «подводили» к Г. В. Плеханову, он стоял скрестив руки на груди и смотрел строго, скучновато, как смотрит утомлённый своими обязанностями учитель ещё на одного нового ученика. Он сказал мне весьма обычную фразу: «Я поклонник вашего таланта». Кроме этого, он не сказал ничего, что моя память удержала бы. И на протяжении всего съезда ни у него, ни у меня не явилось желания поговорить «по душам».

А этот лысый, картавый, плотный, крепкий человек, потирая одну рукой сократовский лоб, дёргая другою мою руку, ласково поплёскивая удивительно живыми глазами, тотчас же заговорил о недостатках книги «Мать», оказалось, что он прочитал её в рукописи, взятой у И. П. Ладыжникова. Я сказал, что торопился написать книгу, но – не успел объяснить, почему торопился, – Ленин, утвердительно кивнув головой, сам объяснил это: очень хорошо, что я поспешил, книга – нужная, много рабочих участвовало в революционном движении несознательно, стихийно, и теперь они читают «Мать» с большой пользой для себя.

«Очень своевременная книга». Это был единственный, но крайне ценный для меня его комплимент. Затем он деловито осведомился, переводится ли «Мать» на иностранные языки, насколько испортила книгу русская и американо-американская цензура, а узнав, что автора решено привлечь к суду, сначала – поморщился, а затем, вскинув голову, закрыв глаза, засмеялся каким-то необыкновенным смехом; смех его привлёк рабочих, подошёл, кажется, Фома Уральский и ещё человека три.

Я был настроен очень празднично, я находился в среде трёх сотен отборных партийцев, узнал, что они посланы на съезд полутораста тысячами организованных рабочих, я видел перед собою всех лидеров партии, старых революционеров: Плеханова, Аксельрода, Дейча. Праздничное моё настроение было вполне естественно и будет понятно читателю, если я скажу, что за два года, прожитых мною вне родины, обычное самочувствие моё сильно понизилось.

Понижаться оно начало с Берлина, где я видел почти всех крупнейших вождей социал-демократии, обедал у Августа Бебеля, сидя рядом с очень толстым Зингером и в среде других, тоже весьма крупных людей.

Обедали мы в просторной, уютной квартире, где клетки с канарейками были изящно прикрыты вышитыми салфеточками и на спинках кресел тоже были припилены вышитые салфеточки, чтобы сидящие не пачкали затылками чехлов. Всё вокруг было очень солидно, прочно, все кушали торжественно и торжественно говорили друг другу:

– Мальцейт.

Слово это было незнакомо мне, но я знал, что французское «маль» по-русски значит – плохо, немецкое «цейт» – время, вышло: плохое время.

Зингер дважды назвал Каутского «мой романтик». Бебель с его орлиным носом показался мне человеком немножко самодовольным. Пили рейнское вино и пиво; вино было кислое и тёплое, пиво хорошее; о русской революции и партии с.-д. говорили тоже кислое и снисходительно, а о своей, немецкой партии – очень хорошо! Вообще – всё было очень самодовольно, и чувствовалось, что даже стулья довольны тем, что их отягощают столь почтенные мякоти вождей.

К немецкой партии у меня было «щекотливое» дело: видный её член, впоследствии весьма известный Парвус, имел от «Знания» доверенность на сбор гонорара с театров за пьесу «На дне». Он получил эту доверенность в 902 году в Севастополе, на вокзале, приехав туда нелегально. Собранные им деньги распределялись так: 20 % со всей суммы получал он, остальное делилось так: четверть – мне, три четверти в кассу с.-д. партии. Парвус это условие, конечно, знал, и оно даже восхищало его. За четыре года пьеса обошла все театры Германии, в одном только Берлине была поставлена свыше 500 раз, у Парвуса собралось, кажется, 100 тысяч марок. Но вместо денег он прислал в «Знание» К. П. Пятницкому письмо, в котором добродушно сообщил, что все эти деньги он потратил на путешествие с одной барышней по Италии. Так как это, наверно, очень приятное путешествие лично меня касалось только на четверть, то я счёл себя вправе указать ЦК немецкой партии на остальные три четверти его. Указал через И. П. Ладыжникова. ЦК отнёсся к путешествию Парвуса равнодушно. Позднее я слышал, что Парвус лишился каких-то партийных чинов, – говоря по совести, я предположил бы, чтоб ему надрали уши. Ещё позднее мне в Париже показали весьма красивую девушку или даму, сообщив, что это

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy@mail.ru
с ней путешествовал Парвус.

«Дорогая моя, – подумалось мне, – дорогая».

Видел я в Берлине литераторов, художников, меценатов и других людей, они различались друг от друга по степеням самодовольства и самолюбования.

В Америке весьма часто видел Мориса Хилквит, который хотел быть мэром или губернатором Нью-Йорка, старика Дебса, который одиноко и устало рычал на всех и на всё, – он только что вышел из тюрьмы, – видел очень многих и очень много, но не встречал ни одного человека, который понимал бы всю глубину русской революции, и всюду чувствовал, что к ней относятся как к «частному случаю европейской жизни» и обычному явлению в стране, где «всегда или холера или революция», по словам одной «гэнсом лэди», которая «сочувствовала социализму».

Идею поездки в Америку для сбора денег в кассу «большевиков» дал Л. Б. Красин; ехать со мною в качестве секретаря и организатора выступлений должен был В. В. Воровский, он хорошо знал английский язык, но ему партия дала какое-то другое поручение, и со мною поехал Н. Е. Буренин, член боевой группы при ЦК(б); он был «без языка», начал изучать его в дороге и на месте. Эс-эры, узнав, с какой целью я еду, юношески живо заинтересовались поездкой; ко мне – ещё в Финляндии – пришёл Чайковский с Житловским и предложили собирать деньги не для большевиков, а «вообще для революции». Я отказался от «вообще революции». Тогда они послали туда «бабушку», и перед американцами явились двое людей, которые, независимо друг от друга и не встречаясь, начали собирать деньги, очевидно, на две различных революции; сообразить, которая из них лучше, солиднее, – у американцев, конечно, не было ни времени, ни желания. «Бабушку» они, кажется, знали и раньше, американские друзья сделали ей хорошую рекламу, а мне царское посольство – устроило скандал. Американские товарищи, тоже рассматривая русскую революцию как «частное и неудавшееся дело», относились к деньгам, собранным мною на митингах, несколько «либерально», в общем я собрал долларов очень мало, меньше 10 тысяч. Решил «заработать» в газетах, но и в Америке нашёлся Парвус. Вообще поездка не удалась, но я там написал «Мать», чем и объясняются некоторые «промахи», недостатки этой книги.

Затем я переехал в Италию, на Капри, там погрузился в чтение русских газет, книг, – это тоже очень понижало настроение. Если зуб, выбитый из челюсти, способен чувствовать, он, вероятно, чувствовал бы себя так же одиноко, как я. Очень удивляла клоунская быстрота и ловкость, с которой знакомые люди перескакивали с одной «платформы» на другую.

Приезжали из России случайные революционеры, разбитые, испуганные, обозлённые на самих себя и на людей, которые вовлекли их в «безнадёжное предприятие».

– Всё пропало, – говорили они. – Всё разбито, истреблено, сослано, посажено в тюрьмы!

Было очень много смешного, но – ничего весёлого. Один гость из России, литератор, и – талантливый, доказывал мне, что я будто бы сыграл роль Луки из пьесы «На дне»: пришёл, наговорил молодёжи утешительных слов, она мне поверила и набила себе шишек на лбу, а я – убежал. Другой утверждал, что меня съела «тенденция», что я – «конченный человек» и отрицаю значение балета только потому, что он – «императорский». Вообще было весьма много смешного, глупого, и часто казалось, что из России несётся какая-то гнилая пыль.

И – вдруг, точно в сказке, я на съезде Российской социал-демократической партии. Конечно – праздник!

Но праздновал я только до первого заседания, до споров по вопросу о «порядке дня». Свирепость этих споров сразу охладил мои восторги и не столько тем, что я почувствовал, как резко расколота партия на реформаторов и революционеров, – это я знал с 903 года, – а враждебным отношением реформаторов к В. И. Ленину. Оно просачивалось и брызгало сквозь их речи, как вода под высоким давлением сквозь старую пожарную «кишку».

Не всегда важно – что говорят, но всегда важно, как говорят. Г. В. Плеханов в сюртуке, застёгнутом на все пуговицы, похожий на протестантского пастора, открывая съезд, говорил, как законоучитель, уверенный, что его мысли неоспоримы,

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru

каждое слово – драгоценно, так же как и пауза между словами. Очень искусно он развешивал в воздухе над головами съездовцев красиво закруглённые фразы, и когда на скамьях большевиков кто-нибудь шевелил языком, перешёптываясь с товарищем, почтенный оратор, сделав маленькую паузу, вонзал в него свой взгляд, точно гвоздь.

Одна из пуговиц на его сюртуке была любима Плехановым больше других, он её ласково и непрерывно гладил пальцем, а во время паузы прижимал её, точно кнопку звонка, – можно было думать, что именно этот нажим и прерывает плавное течение речи. На одном из заседаний Плеханов, собираясь ответить кому-то, скрестил руки на груди и громко, презрительно произнёс:

– Х-хе!

Это вызвало смех среди рабочих-большевиков, Г. В. поднял брови, и у него побледнела щека: я говорю: щека, потому что сидел сбоку кафедры и видел лица ораторов в профиль.

За время речи Г. В. Плеханова в первом заседании на скамьях большевиков чаще других шевелился Ленин, то – съёживаясь, как бы от холода, то – расширяясь, точно ему становилось жарко; засовывал пальцы куда-то под мышки себе, потирал подбородок, встряхивая светлой головой, и шептал что-то М. П. Томскому. А когда Плеханов заявил, что «ревизионистов в партии нет», Ленин согнулся, лысина его покраснела, плечи затряслись в беззвучном смехе, рабочие, рядом с ним и сзади его, тоже улыбались, а из конца зала кто-то угрюмо и громко спросил:

– А по ту сторону – какие сидят?

Коротенький Фёдор Дан говорил тоном человека, которому подлинная истина приходится родной дочерью, он её родил, воспитал и всё ещё воспитывает. Сам же он, Фёдор Дан, является совершенным воплощением Карла Маркса, а большевики – недоучки, неприличные ребята, что особенно ясно из их отношения к меньшевикам, среди которых находятся – «все выдающиеся теоретики марксизма», сказал он.

– Вы – не марксисты, – пренебрежительно говорил он, – нет, вы не марксисты! – и толкал в воздух, направо, жёлтым кулаком. Кто-то из рабочих осведомился у него:

– А когда вы опять пойдёте чай пить с либералами?

Не помню, выступал ли на первом заседании Мартов. Этот удивительно симпатичный человек говорил юношески пламенно, и казалось, что он особенно глубоко чувствует драму раскола, боль противоречий.

Он весь содрогался, качался, судорожно расстегивал воротник крахмальной рубашки, размахивал руками; обшлага, выскакивая из рукава пиджака, закрывали ему кисть руки, он высоко поднимал руку и тряс ею, чтобы водрузить обшлаг на его законное место. Мне казалось, что Мартов не доказывает, а – упрашивает, умоляет: раскол необходимо изжить, партия слишком слаба для того, чтобы разбиваться на две, рабочий прежде всего нуждается в «свободе», надобно поддерживать душу. Иногда его первая речь звучала почти истерически, обилие слов делало её непонятной, а сам оратор вызывал впечатление тяжёлое. В конце речи и как будто вне связи её, всё-таки «боевым» тоном, он всё так же пламенно стал кричать против боевых дружин и вообще работы, направленной к подготовке вооружённого восстания. Хорошо помню, как на скамьях большевиков кто-то изумлённо воскликнул:

– Вот те и раз!

А, кажется, М. П. Томский, спросил:

– Может, нам и руки обрубить, для того чтоб т[оварищ] Мартов успокоился?

Повторяю: не уверен, что Мартов говорил на первом заседании, я упомянул о нём только для того, чтоб рассказать, как говорили.

После его речи рабочие, в помещении перед залом заседания, угрюмо беседовали:

– Вот вам и Мартов! А – «искрист» был!

– Линяют товарищи интеллигенты.

Красиво, страстно и резко говорила Роза Люксембург, отлично владея оружием иронии. Но вот поспешно взошёл на кафедру Владимир Ильич, картаво произнёс «товарищи». Мне показалось, что он плохо говорит, но уже через минуту я, как и все, был «поглощён» его речью. Первый раз слышал я, что о сложнейших вопросах политики можно говорить так просто. Этот не пытался сочинять красивые фразы, а подавал каждое слово на ладони, изумительно легко обнажая его точный смысл. Очень трудно передать необычное впечатление, которое он вызывал.

Его рука, протянутая вперёд и немного поднятая вверх, ладонь, которая как бы взвешивала каждое слово, отсеивая фразы противников, заменяя их вескими положениями, доказательствами права и долга рабочего класса идти своим путём, а не сзади и даже не рядом с либеральной буржуазией, – всё это было необыкновенно и говорило им, Лениным, как-то не от себя, а действительно по воле истории. Слитность, законченность, прямота и сила его речи, весь он на кафедре – точно произведение классического искусства: всё есть, и ничего лишнего, никаких украшений, а если они были – их не видно, они также естественно необходимы, как два глаза на лице, пять пальцев на руке.

По счёту времени он говорил меньше ораторов, которые выступали до него, а по впечатлению – значительно больше; не один я чувствовал это, сзади меня восторженно шептали:

– Густо говорит...

Так оно и было; каждый его довод развёртывался сам собою – силою, заключённой в нём.

Меньшевики, не стесняясь, показывали, что речь Ленина неприятна им, а сам он – более чем неприятен.

Чем убедительнее он доказывал необходимость для партии подняться на высоту революционной теории для того, чтобы всесторонне проверить практику, тем озлобленнее прерывали его речь.

– Съезд не место для философии!

– Не учите нас, мы – не гимназисты!

Особенно старался кто-то рослый, бородатый, с лицом лавочника, он вскакивал со скамьи и, заикаясь, кричал:

– З-загово-орчки... в з-заговорчки играет! Б-бланкисты!

Одобрительно кивала головой Роза Люксембург; она очень хорошо сказала меньшевикам на одном из следующих заседаний:

– Вы не стоите на марксизме, а сидите, даже – лежите на нём.

Злой, горячий ветерок раздражения, иронии, ненависти гулял по залу, сотни глаз разнообразно освещали фигуру Владимира Ильича. Не заметно было, что враждебные выпады волнуют его, говорил он горячо, но веско, спокойно; через несколько дней я узнал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Было очень странно и обидно видеть, что вражду к нему возбуждает такая естественная мысль: только с высоты теории партия может ясно увидеть причины разногласий среди её. У меня образовалось такое впечатление: каждый день съезда придаёт Владимиру Ильичу всё новые и новые силы, делает его бодрее, уверенней, с каждым днём речи его звучат всё более твёрдо и вся большевистская часть членов съезда настраивается решительнее, строже. Кроме его речей, меня почти так же взволновала прекрасная и резкая речь против меньшевиков Розы Люксембург.

Свободные минуты, часы он проводил среди рабочих, выпрашивал их о самых мизерных мелочах быта.

– Ну, а женщины как? Заедает хозяйство? Всё-таки – учатся, читают?

В Гайд-парке несколько человек рабочих, впервые видевших Ленина, заговорили о

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy.moscow.ru
его поведении на съезде. Кто-то из них характерно сказал:

– Не знаю, может быть, здесь, в Европе, у рабочих есть и другой, такой же умный человек – Бебель или ещё кто. А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, – не верится!

Другой рабочий добавил, улыбаясь:

– Этот – наш!

Ему возразили:

– И Плеханов – наш.

Я услышал меткий ответ:

– Плеханов – наш учитель, наш барин, а Ленин – вождь и товарищ наш.

Какой-то молодой парень юмористически заметил:

– Сюртучок Плеханова-то стесняет.

Был такой случай: по дороге в ресторан Владимира Ильича остановил меньшевик-рабочий, спрашивая о чём-то. Ильич замедлил шаг, а его компания пошла дальше. Придя в ресторан минут через пять, он, хмурясь, рассказал:

– Странно, что такой наивный парень попал на партийный съезд! Спрашивает меня: в чём же всё-таки истинная причина разногласий? Да вот, говорю, ваши товарищи желают заседать в парламенте, а мы убеждены, что рабочий класс должен готовиться к бою. Кажется – понял...

Обедали небольшой компанией всегда в одном и том же маленьком, дешёвом ресторане. Я заметил, что Владимир Ильич ест очень мало: яичницу из двух-трёх яиц, небольшой кусок ветчины, выпивает кружку густого, тёмного пива. По всему видно было, что к себе он относится небрежно, и поражала меня его удивительная заботливость о рабочих. Питанием их заведовала М. Ф. Андреева, и он спрашивал её:

– Как вы думаете: не голодают товарищи? нет? Гм, гм... А может, увеличить бутерброды?

Пришёл в гостиницу, где я остановился, и вижу: озабоченно щупает постель.

– Что это вы делаете?

– Смотрю – не сырые ли простыни.

Я не сразу понял: зачем ему нужно знать – какие в Лондоне простыни? Тогда он, заметив моё недоумение, объяснил:

– Вы должны следить за своим здоровьем.

Осенью 18 года я спросил сормовского рабочего Дмитрия Павлова, какова, на его взгляд, самая резкая черта Ленина?

– Простота. Прост, как правда.

Сказал он это как хорошо продуманное, давно решённое.

Известно, что строже всех судят человека его служащие. Но шофёр Ленина, Гиль, много испытавший человек, говорил:

– Ленин – особенный. Таких – нет. Я везу его по Мясницкой, большое движение, едва еду, боюсь – изломают машину, даю гудки, очень волнуюсь. Он открыл дверь, добрался ко мне по подножке, рискуя, что его сшибут, уговаривает: «Пожалуйста, не волнуйтесь, Гиль, поезжайте, как все». Я – старый шофёр, я знаю – так никто не делает.

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy.moscow.ru

Трудно передать, изобразить ту естественность и гибкость, с которыми все его впечатления вливались в одно русло.

Его мысль, точно стрелка компаса, всегда обращалась остриём в сторону классовых интересов трудового народа. В Лондоне выдался свободный вечер, пошли небольшой компанией в «мюзик-холл» – демократический театрик. Владимир Ильич охотно и заразительно смеялся, глядя на клоунов, эксцентриков, равнодушно смотрел на всё остальное и особенно внимательно на рубку леса рабочими Британской Колумбии. Маленькая сцена изображала лесной лагерь, перед нею, на земле, двое здоровых молодцов перерубали в течение минуты ствол дерева, объёмом около метра.

– Ну, это, конечно, для публики, на самом деле они не могут работать с такой быстротой, – сказал Ильич. – Но ясно, что они и там работают топорами, превращая массу дерева в негодные щепки. Вот вам и культурные англичане!

Он заговорил об анархии производства при капиталистическом строе, о громадном проценте сырья, которое расходуется бесплодно, и кончил сожалением, что до сей поры никто не догадался написать книгу на эту тему. Для меня было что-то неясное в этой мысли, но спросить Владимира Ильича я не успел, он уже интересно говорил об «эксцентризме» как особой форме театрального искусства.

– Тут есть какое-то сатирическое или скептическое отношение к общепринятому, есть стремление вывернуть его наизнанку, немножко исказить, показать алогизм обычного. Замысловато, а – интересно!

Года через два, на Капри, беседуя с А. А. Богдановым-Малиновским об утопическом романе, он сказал ему:

– Вот вы бы написали для рабочих роман на тему о том, как хищники капитализма ограбили землю, растратив всю нефть, всё железо, дерево, весь уголь. Это была бы очень полезная книга, синьор махист! [3].

Прощаясь, в Лондоне, он сказал мне, что обязательно приедет на Капри отдыхать.

Но раньше, чем он собрался приехать, я увидел его в Париже [4], в студенческой квартирке из двух комнат, – студенческой она была только по размерам, но не по чистоте и строгому порядку в ней. Надежда Константиновна, сделав нам чай, куда-то ушла, мы остались вдвоём. Тогда разваливалось «Знание», и я приехал поговорить с Владимиром Ильичом об организации нового издательства, которое объединяло бы, по возможности, всех наших литераторов. Редактуру издательства за границей я предлагал Владимиру Ильичу, В. В. Воровскому и ещё кому-то, а в России представлял бы их Е. А. Десницкий-Строев.

Мне казалось, что нужно написать ряд книг по истории западных литератур и по русской литературе, книги по истории культуры, которые дали бы богатый фактический материал рабочим для самообразования и пропаганды.

Но Владимир Ильич разрушил этот план, указав на цензуру, на трудность организовать своих людей; большинство товарищей занято практической партийной работой, писать им – некогда. Но главный и наиболее убедительный для меня довод его был приблизительно таков: для толстой книги – не время, толстой книгой питается интеллигенция, а она, как видите, отступает от социализма к либерализму, и нам её не столкнуть с пути, ею избранного. Нам нужна газета, брошюра, хорошо бы восстановить библиотечку «Знания», но в России это невозможно по условиям цензуры, а здесь по условиям транспорта: нам нужно бросить в массы десятки, сотни тысяч листовок, такую кучу нелегально не перевезёшь. Подождём с издательством до лучших времён.

С поразительной, всегда присущей ему живостью и ясностью он заговорил о Думе, о кадетах [5], которые «стыдятся быть октябристами» [6], о том, что «перед ними один путь направо», а затем привёл ряд доказательств в пользу близости войны и, «вероятно, не одной, но целого ряда войн», – это его предвидение вскоре оправдалось на Балканах.

Встал, характерным жестом сунул пальцы рук за жилет под мышками и медленно шагнул по тесной комнатке, прищуриваясь, поблескивая глазами.

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Война будет. Неизбежно. Капиталистический мир достиг состояния гнилостного брожения, уже и сейчас люди начинают отравляться ядами шовинизма, национализма. Я думаю, что мы ещё увидим общеевропейскую войну. Пролетариат? Едва ли пролетариат найдёт в себе силу предотвратить кровавую склоку. Как это можно сделать? Общеевропейской забастовкой рабочих? Для этого они недостаточно организованы, сознательны. Такая забастовка была бы началом гражданской войны, мы, реальные политики, не можем рассчитывать на это.

Остановясь, шаркая подошвой по полу, угрюмо сказал:

– Пролетариат, конечно, пострадает ужасно – такова, пока, его судьба. Но враги его – обессилят друг друга. Это – тоже неизбежно.

И, подойдя ко мне, он сказал, как бы с изумлением, с большой стой, но негромко:

– Нет, вы подумайте: чего ради сытые гонят голодных на бойню друг против друга? Можете вы назвать преступление более идиотическое и отвратительное? Страшно дорого заплатят за это рабочие, но в конце концов выиграют они. Это – воля истории.

Он часто говорил об истории, но никогда в его речах я не чувствовал фетишистического преклонения пред её волей и силой.

Речь взволновала его, присев к столу, он вытер вспотевший лоб, хлебнул холодного чая и неожиданно спросил:

– Что это за скандал был у вас в Америке? По газетам я знаю, в чём дело, но – как это вышло?

Я кратко рассказал ему мои приключения.

Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедии, непримиримый, непоколебимый в своей ненависти к миру капитализма, может смеяться по-детски, до слёз, захлёбываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться.

– Ох, да вы – юморист! – говорил он сквозь смех. – Вот не предполагал. Чёрт знает как смешно..

И, стирая слёзы смеха, он уже серьёзно, с хорошей, мягкой улыбкой сказал:

– Это – хорошо, что вы можете относиться к неудачам юмористически. Юмор – прекрасное, здоровое качество. Я очень понимаю юмор, но не владею им. А смешного в жизни, пожалуй, не меньше, чем печального, право, не меньше.

Условились, что я зайду к нему через день, но погода была плохая, вечером у меня началось обильное кровохарканье, и на другой день я уехал.

После Парижа мы встретились на Капри. Тут у меня осталось очень странное впечатление: как будто Владимир Ильич был на Капри два раза и в двух резко различных настроениях[7].

Один Ильич, как только я встретил его на пристани, тотчас же решительно заявил мне:

– Я знаю, вы, Алексей Максимович, всё-таки надеетесь на возможность моего примирения с махистами, хотя я вас предупредил в письме: это – невозможно! Так уж вы не делайте никаких попыток.

По дороге на квартиру ко мне и там я пробовал объяснить ему, что он не совсем прав: у меня не было и нет намерения примирять философские распри, кстати – не очень понятные мне. К тому же я, от юности, заражён недоверием ко всякой философии, а причиной этого недоверия служило и служит разноречие философии с моим личным, «субъективным» опытом: для меня мир только что начинался, «становился», а философия шлёпала его по голове и совершенно неуместно,

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiymaxim.ru
несвоевременно спрашивала:

«Куда идёшь? Зачем идёшь? Почему – думаешь?»

Некоторые же философы просто и строго командовали:

«Стой!»

Кроме того, я уже знал, что философия, как женщина, может быть очень некрасивой, даже уродливой, но одета настолько ловко и убедительно, что её можно принять за красавицу. Это рассмешило Владимира Ильича.

– Ну, это – юмористика, – сказал он. – А что мир только начинается, становится – хорошо! Над этим вы подумайте серьёзно, отсюда вы придёте, куда вам давно следует прийти.

Затем я сказал ему, что А. А. Богданов, А. В. Луначарский, В. А. Базаров – в моих глазах крупные люди, отлично, всесторонне образованные, в партии я не встречал равных им.

– Допустим. Ну, и что же отсюда следует?

– В конце концов я считаю их людьми одной цели, а единство цели, понятное и осознанное глубоко, должно бы стереть, уничтожить философические противоречия...

– Значит – всё-таки надежда на примирение жива? Это – зря, – сказал он. – Гоните её прочь и как можно дальше, дружески советую вам! Плеханов тоже, по-вашему, человек одной цели, а вот я – между нами – думаю, что он – совсем другой цели, хотя и материалист, а не метафизик.

На этом беседа наша и кончилась. Я думаю, что нет надобности напоминать, что я воспроизвёл её не в точных словах, не буквально. В точности смысла – не сомневаюсь.

И вот я увидел пред собой Владимира Ильича Ленина ещё более твёрдым, непреклонным, чем он был на Лондонском съезде. Но там он волновался, и были моменты, когда ясно чувствовалось, что раскол в партии заставляет переживать его очень тяжёлые минуты.

Здесь он был настроен спокойно, холодновато и насмешливо, сурово отталкивался от бесед на философские темы и вообще вёл себя настороженно. А. А. Богданов, человек удивительно симпатичный, мягкий и влюблённый в Ленина, но немножко самолюбивый, принуждён был выслушивать весьма острые и тяжёлые слова:

– Шопенгауэр говорит: «кто ясно мыслит – ясно излагает», я думаю, что лучше этого он ничего не сказал. Вы, т[оварищ] Богданов, излагаете неясно. Вы мне объясните в двух-трёх фразах, что даёт рабочему классу ваша «подстановка» и почему махизм – революционное марксизма?

Богданов пробовал объяснить, но он говорил действительно неясно и многословно.

– Бросьте, – советовал Владимир Ильич. – Кто-то, кажется Жорес, сказал: «Лучше говорить правду, чем быть министром», я бы прибавил: и махистом.

Затем он азартно играл с Богдановым в шахматы и, проигрывая, сердился, даже унывал, как-то по-детски. Замечательно: даже и это детское уныние, так же как его удивительный смех, – не нарушали целостной слитности его характера.

Был на Капри другой Ленин – прекрасный товарищ, весёлый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире, с поразительно мягким отношением к людям.

Как-то поздним вечером, когда все ушли гулять, он говорил мне и М. Ф. Андреевой, – невесело говорил, с глубоким сожалением:

– Умные, талантливые люди, не мало сделали для партии, могли бы сделать в десять раз больше, а – не пойдут они с нами! Не могут. И десятки, сотни таких людей ломает, уродует этот преступный строй.

В другой раз он сказал:

– Луначарский вернётся в партию, он – менее индивидуалист, чем те двое. На редкость богато одарённая натура. Я к нему «питаю слабость» – чёрт возьми, какие глупые слова: питать слабость! Я его, знаете, люблю, отличный товарищ! Есть в нём какой-то французский блеск. Легкомыслие у него тоже французское, легкомыслие – от эстетизма у него.

Он подробно расспрашивал о жизни каприйских рыбаков, о их зарплате, о влиянии попов, о школе – широта его интересов не могла не изумлять меня. Когда ему указали, что вот этот попик – сын бедного крестьянина, он сейчас же потребовал, чтоб ему собрали справки: насколько часто крестьяне отдают своих детей в семинарии, и возвращаются ли дети крестьян служить попами в свои деревни?

– Вы – понимаете? Если это не случайное явление – значит, это политика Ватикана. Хитрая политика!

Не могу представить себе другого человека, который, стоя так высоко над людьми, умел бы сохранить себя от соблазна честолюбия и не утратил бы живого интереса к «простым людям».

Был в нём некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей труда. Он не говорил по-итальянски, но рыбаки Капри, видевшие и Шалапина и не мало других крупных русских людей, каким-то чутьём сразу выделили Ленина на особое место. Обаятелен был его смех, – «задушевный» смех человека, который, прекрасно умея видеть неуклюжесть людской глупости и акробатические хитрости разума, умел наслаждаться детской наивностью «простых сердцем».

Старый рыбак, Джиованни Спадаро, сказал о нём:

– Так смеяться может только честный человек.

Качаясь в лодке, на голубой и прозрачной, как небо, волне, Ленин учился удить рыбу «с пальца» – лесой без удилица. Рыбаки объясняли ему, что подсекать надо, когда палец почувствует дрожь леси:

– Кози: дринь-дринь. Капиш?

Он тотчас подсёк рыбу, повёл её и закричал с восторгом ребёнка, с азартом охотника:

– Ага! Дринь-дринь!

Рыбаки оглушительно и тоже, как дети, радостно захохотали и прозвали рыбака:

«Синьор Дринь-дринь».

Он уехал, а они всё спрашивали:

– Как живёт синьор Дринь-дринь? Царь не схватит его, нет?

Не помню, до Владимира Ильича или после его на Капри был Г. В. Плеханов.

Несколько эмигрантов каприйской колонии – литератор Н. Олигер, Лоренц-Метнер, приговорённый к смертной казни за организацию восстания в Сочи, Павел Вигдорчик и ещё, кажется, двое – хотели побеседовать с ним. Он отказался. Это было его право, он – был больной человек, приехал отдохнуть. Но Олигер и Лоренц говорили мне, что он сделал это в форме очень обидной для них. Нервозный Олигер настаивал, что Г. В. сказано было нечто об «усталости от обилия желающих говорить, но не способных делать». Он, будучи у меня, действительно не пожелал никого видеть из местной колонии, – Владимир Ильич видел всех. Плеханов ни о чём не расспрашивал, он уже всё знал и сам рассказывал. По-русски широко талантливый, европейски воспитанный, он любил щегольнуть красивым, острым словом и, кажется, именно ради острого слова жестоко подчёркивал недостатки иностранных и русских товарищей. Мне показалось, что его остроты не всегда удачны, в памяти остались только неудачные: «не в меру умеренный Меринг», «самозванец Энрико Ферри, в нём нет железа ни золотника» – тут каламбур построен

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy.moscow.ru
на слове «ферро» – «железо». И всё – в этом роде. Вообще же он относился к людям снисходительно, разумеется, не так, как бог, но несколько похоже. Талантливейший литератор, основоположник партии, он вызвал у меня глубокое почтение, но не симпатию. Слишком много было в нём «аристократизма». Может быть, я сужу ошибочно. У меня нет особенной любви к ошибкам, но, как все люди, я тоже ошибаюсь. А факт остаётся фактом: редко встречал я людей до такой степени различных, как Г. В. Плеханов и В. И. Ленин. Это и естественно: один заканчивал свою работу разрушения старого мира, другой уже начал строить новый мир.

Жизнь устроена так дьявольски искусно, что, не умея ненавидеть, невозможно искренно любить. Уже только эта одна, в корне искажающая человека, необходимость раздвоения души, неизбежность любви сквозь ненависть осуждает современные условия жизни на разрушение.

В России, стране, где необходимость страдания проповедуется как универсальное средство «спасения души», я не встречал, не знаю человека, который с такой глубиной и силой, как Ленин, чувствовал бы ненависть, отвращение и презрение к несчастьям, горю, страданию людей.

В моих глазах эти чувства, эта ненависть к драмам и трагедиям жизни особенно высоко поднимают Владимира Ленина, человека страны, где во славу и освящение страдания написаны самые талантливые евангелия и где юношество начинает жить по книгам, набитым однообразными, в сущности, описаниями мелких, будничных драм. Русская литература – самая пессимистическая литература Европы; у нас все книги пишутся на одну и ту же тему о том, как мы страдаем, – в юности и зрелом возрасте: от недостатка разума, от гнёта самодержавия, от женщин, от любви к ближнему, от неудачного устройства вселенной; в старости: от сознания ошибок жизни, недостатка зубов, несварения желудка и от необходимости умереть.

Каждый русский, посидев «за политику» месяц в тюрьме или прожив год в ссылке, считает священной обязанностью своей подарить России книгу воспоминаний о том, как он страдал. И никто до сего дня не догадался выдумать книгу о том, как он всю жизнь радовался. А так как русский человек привык выдумывать жизнь для себя, делать же её плохо умеет, то весьма вероятно, что книга о счастливой жизни научила бы его, как нужно выдумывать такую жизнь.

Для меня исключительно велико в Ленине именно это его чувство непримиримой, неугасимой вражды к несчастьям людей, его яркая вера в то, что несчастье не есть неустранимая основа бытия, а – мерзость, которую люди должны и могут отместить прочь от себя.

Я бы назвал эту основную черту его характера воинствующим оптимизмом материалиста. Именно она особенно привлекала душу мою к этому человеку, – человеку – с большой буквы.

В 17–18 годах мои отношения с Лениным были далеко не таковы, какими я хотел бы их видеть, но они не могли быть иными.

Он – политик. Он в совершенстве обладал той чётко выработанной прямолинейностью взгляда, которая необходима рулевому столь огромного, тяжёлого корабля, каким является свинцовая крестьянская Россия.

У меня же органическое отвращение к политике, и я плохо верю в разум масс вообще, в разум же крестьянской массы – в особенности. Разум, не организованный идеей, – ещё не та сила, которая входит в жизнь творчески. В разуме массы – нет идеи до поры, пока в ней сознания общности интересов всех её единиц.

Тысячелетия живёт она стремлением к лучшему, но это стремление создаёт из плоти её хищников, которые её же поработают, её кровью живут, и так будет до поры, пока она не осознает, что в мире есть только одна сила, способная освободить её из плена хищников, – сила правды Ленина.

Когда в 17 году Ленин, приехав в Россию, опубликовал свои «тезисы» [8], я подумал, что этими тезисами он приносит всю ничтожную количественно, героическую качественно рать политически воспитанных рабочих и всю искренно революционную интеллигенцию в жертву русскому крестьянству. Эта единственная в России активная

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy.mos.ru
сила будет брошена, как горсть соли, в пресное болото деревни и бесследно растворится, рассосётся в ней, ничего не изменив в духе, быте, в истории русского народа.

Научная, техническая – вообще квалифицированная интеллигенция, с моей точки зрения, революционна по существу своему, и вместе с рабочей, социалистической интеллигенцией – для меня была самой драгоценной силой, накопленной Россией, – иной силы, способной взять власть и организовать деревню, я – в России 17 года не видел. Но эти силы, количественно незначительные и раздробленные противоречиями, могли бы выполнить свою роль только при условии прочнейшего внутреннего единения. Пред ними стояла грандиозная работа: овладеть анархизмом деревни, культивировать волю мужика, научить его разумно работать, преобразить его хозяйство и всем этим быстро двинуть страну вперёд; всё это достижимо лишь при наличии подчинения инстинктов деревни организованному разуму города. Первейшей задачей революции я считал создание таких условий, которые бы содействовали росту культурных сил страны. В этих целях я предложил устроить на Капри школу для рабочих и в годы реакции, 1907–1913, усиленно пытался всячески поднять бодрость духа рабочих.

Ради этой цели тотчас после февральского переворота, весной 17 года, была организована «Свободная ассоциация для развития и распространения положительных наук» – учреждение, которое ставило задачей своей, с одной стороны, организацию в России научно-исследовательских институтов, с другой – широкую и непрерывную популяризацию научных и технических знаний в рабочей среде. Во главе ассоциации встали крупные учёные, члены Российской Академии наук В. А. Стеклов, Л. А. Чугаев, академик Ферсман, С. П. Костычев, А. А. Петровский и ряд других. Деятельно собирались средства; С. П. Костычев уже приступил к поискам места для устройства исследовательского института по вопросам зооботаники.

Для большей ясности скажу, что меня всю жизнь угнетал факт подавляющего преобладания безграмотной деревни над городом, зоологический индивидуализм крестьянства и почти полное отсутствие в нём социальных эмоций. Диктатура политически грамотных рабочих, в тесном союзе с научной и технической интеллигенцией, была, на мой взгляд, единственно возможным выходом из трудного положения, особенно осложнённого войной, ещё более анархизировавшей деревню.

С коммунистами я расходился по вопросу об оценке роли интеллигенции в русской революции, подготовленной именно этой интеллигенцией, в число которой входят и все «большевики», воспитавшие сотни рабочих в духе социального героизма и высокой интеллектуальности. Русская интеллигенция – научная и рабочая – была, остаётся и ещё долго будет единственной ломовой лошадкой, запряжённой в тяжкий воз истории России. Несмотря на все толчки и возбуждения, испытанные им, разум народных масс всё ещё остаётся силой, требующей руководства извне.

Так думал я 13 лет тому назад и так – ошибался. Эту страницу моих воспоминаний следовало бы вычеркнуть. Но – «написано пером – не вырубишь топором». К тому же: «на ошибках – учимся» – часто повторял Владимир Ильич. Пусть же читатели знают эту мою ошибку. Было бы хорошо, если б она послужила уроком для тех, кто склонен торопиться с выводами из своих наблюдений.

Разумеется, после ряда фактов подлейшего вредительства со стороны части спецов я обязан был переоценить – и переоценил – моё отношение к работникам науки и техники. Такие переоценки кое-чего стоят, особенно – на старости лет.

Должность честных вождей народа – нечеловечески трудна. Но ведь и сопротивление революции, возглавляемой Лениным, было организовано шире и мощнее. К тому же надо принять во внимание, что с развитием «цивилизации» – ценность человеческой жизни явно понижается, о чём неоспоримо свидетельствует развитие в современной Европе техники истребления людей и вкуса к этому делу.

Но скажите голосом совести: насколько уместно и не слишком ли отвратительно лицемерие тех «моралистов», которые говорят о кровожадности русской революции, после того как они, в течение четырёх лет позорной общеевропейской бойни, не только не жалели миллионы истребляемых людей, но всячески разжигали «до полной победы» эту мерзкую войну? Ныне «культурные нации» оказались разбиты, истощены, дичают, а победила общечеловеческая мешанская глупость: тугие петли её и по сей день душат людей.

Много писали и говорили о жестокости Ленина. Разумеется, я не могу позволить себе смешную бестактность защиты его от лжи и клеветы. Я знаю, что клевета и ложь – узаконенный метод политики мещан, обычный приём борьбы против врага. Среди великих людей мира сего едва ли найдётся хоть один, которого не пытались бы измазать грязью. Это – всем известно.

Кроме этого, у всех людей есть стремление не только принизить выдающегося человека до уровня понимания своего, но и попытаться свалить его под ноги себе, в ту липкую, ядовитую грязь, которую они, сотворив, наименовали «обыденной жизнью».

Мне отвратительно памятен такой факт: в 19 году, в Петербурге, был съезд «деревенской бедноты»[9]. Из северных губерний России явилось несколько тысяч крестьян, и сотни их были помещены в Зимнем дворце Романовых. Когда съезд кончился и эти люди уехали, то оказалось, что они не только все ванны дворца, но и огромное количество ценнейших северских, саксонских и восточных ваз загадили, употребляя их в качестве ночных горшков. Это было сделано не по силе нужды, – уборные дворца оказались в порядке, водопровод действовал. Нет, это хулиганство было выражением желания испортить, опорочить красивые вещи. За время двух революций и войны я сотни раз наблюдал это тёмное, мстительное стремление людей ломать, искажать, осмеивать, порочить прекрасное.

Не следует думать, что поведение «деревенской бедноты» было подчёркнуто мною по мотивам моего скептического отношения к мужику, нет, – я знаю, что болезненным желанием изгадить прекрасное страдают и некоторые группы интеллигенции, например, те эмигранты, которые, очевидно, думают, что, если их нет в России, – в ней нет уже ничего хорошего.

Злостное стремление портить вещи исключительной красоты имеет один и тот же источник с гнусным стремлением опорочить во что бы то ни стало человека необыкновенного. Всё необыкновенное мешает людям жить так, как им хочется. Люди жаждут – если они жаждут – вовсе не коренного изменения своих социальных навыков, а только расширения их. Основной стон и вопль большинства:

«Не мешайте нам жить, как мы привыкли!»

Владимир Ленин был человеком, который так помешал людям жить привычной для них жизнью, как никто до него не умел сделать это.

Ненависть мировой буржуазии к нему обнажённо и отвратительно ясна, её синие, чумные пятна всюду блещут ярко. Отвратительная сама по себе, эта ненависть говорит нам о том, как велик и страшен в глазах мировой буржуазии Владимир Ленин – вдохновитель и вождь пролетариев всех стран. Вот он не существует физически, а голос его всё громче, победоноснее звучит для трудящихся земли, и уже нет такого угла на ней, где бы этот голос не возбуждал волю рабочего народа к революции, к новой жизни, к строительству мира людей равных. Всё более уверенно, крепче, успешней делают великое дело ученики Ленина, наследники его силы.

Меня восхищала ярко выраженная в нём воля к жизни и активная ненависть к мерзости её, я любовался тем азартом юности, каким он насыщал всё, что делал. Меня изумляла его нечеловеческая работоспособность. Его движения были легки, ловки, и скупой, но сильный жест вполне гармонировал с его речью, тоже скупой словами, обильной мыслью. И на лице, монгольского типа, горели, играли эти острые глаза неугомонного борца против лжи и горя жизни, горели, прищуриваясь, подмигивая, иронически улыбаясь, сверкая гневом. Блеск этих глаз делал речь его ещё более жгучей и ясной.

Иногда казалось, что неукротимая энергия его духа брызжет из глаз искрами и слова, насыщенные ею, блестят в воздухе. Речь его всегда вызвала физическое ощущение неотразимой правды.

Необычно и странно было видеть Ленина гуляющим в парке Горького, – до такой степени сплелось с его образом представление о человеке, который сидит в конце длинного стола и, усмехаясь, поблескивая зоркими глазами рулевого, умело, ловко руководит прениями товарищей или же, стоя на эстраде, закинув голову, мечет в притихшую толпу, в жадные глаза людей, изголодавшихся о правде, чёткие, ясные слова.

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiyamaxim.ru

Они всегда напоминали мне холодный блеск железных стружек.

С удивительной простотой из-за этих слов возникла художественно выточенная фигура правды.

Азарт был свойством его природы, но он не являлся корыстным азартом игрока, он обличал в Ленине ту исключительную бодрость духа, которая свойственна только человеку, непоколебимо верующему в своё призвание, человеку, который всесторонне и глубоко ощущает свою связь с миром и до конца понял свою роль в хаосе мира, – роль врага хаоса. Он умел с одинаковым увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», часами вести спор с товарищем, удить рыбу, ходить по каменным тропам Капри, раскалённым солнцем юга, любоваться золотыми цветами дрока и чумазыми ребятами рыбаков. А вечером, слушая рассказы о России, о деревне, завистливо вздыхал:

– А мало я знаю Россию. Симбирск, Казань, Петербург, ссылка и – почти всё!

Он любил смешное и смеялся всем телом, действительно «заливался» смехом, иногда до слёз. Краткому характерному восклицанию «гм-гм» он умел придавать бесконечную гамму оттенков, от язвительной иронии до осторожного сомнения, и часто в этом «гм-гм» звучал острый юмор, доступный человеку очень зоркому, хорошо знающему дьявольские нелепости жизни.

Коренастый, плотный, с черепом Сократа и всевидящими глазами, он нередко принимал странную и немножко комическую позу – закинет голову назад и, наклонив её к плечу, сунет пальцы рук куда-то под мышки, за жилет. В этой позе было что-то удивительно милое и смешное, что-то победоносно-петушиное, и весь он в такую минуту светился радостью, великое дитя окаянного мира сего, прекрасный человек, которому нужно было принести себя в жертву вражды и ненависти ради осуществления дела любви.

До 18 года, до пошлейшей и гнусной попытки убить Ленина, я не встречался с ним в России и даже издали не видал его. Я пришёл к нему, когда он ещё плохо владел рукой и едва двигал простреленной шеей. В ответ на моё возмущение он сказал неохотно, как говорят о том, что надоело:

– Драка. Что делать? Каждый действует как умеет.

Мы встретились очень дружески, но, разумеется, проницательные, всевидящие глазки милого Ильича смотрели на меня, «заблудившегося», с явным сожалением.

Через несколько минут Ленин азартно говорил:

– Кто не с нами, тот против нас. Люди, независимые от истории, – фантазия. Если допустить, что когда-то такие люди были, то сейчас их – нет, не может быть. Они никому не нужны. Все, до последнего человека, втянуты в круговорот действительности, запутанной, как она ещё никогда не запутывалась. Вы говорите, что я слишком упрощаю жизнь? Что это упрощение грозит гибелью культуре, а?

Ироническое, характерное:

– Гм-гм...

Острый взгляд становится ещё острее, и пониженным голосом Ленин продолжает:

– Ну, а по-вашему, миллионы мужиков с винтовками в руках – не угроза культуре, нет? Вы думаете, Учредилка[10] справилась бы с их анархизмом? Вы, который так много шумите об анархизме деревни, должны бы лучше других понять нашу работу. Русской массе надо показать нечто очень простое, очень доступное её разуму. Советы и коммунизм – просто.

– Союз рабочих с интеллигенцией, да? Это – не плохо, нет. Скажите интеллигенции, пусть она идёт к нам. Ведь, по-вашему, она искренно служит интересам справедливости? В чём же дело? Пожалуйте к нам: это именно мы взяли на себя колоссальный труд поднять народ на ноги, сказать миру всю правду о жизни, мы указываем народам прямой путь к человеческой жизни, путь из рабства, нищеты,

унижения.

Он засмеялся и беззлобно сказал:

– За это мне от интеллигенции и попала пуля.

А когда температура беседы приблизилась к нормальной, он проговорил с досадой и печалью:

– Разве я спорю против того, что интеллигенция необходима нам? Но вы же видите, как враждебно она настроена, как плохо понимает требования момента? И не видит, что без нас она бессильна, не дойдёт к массам. Это – её вина будет, если мы разобьём слишком много горшков.

Беседы с ним на эту тему возникали почти при каждой встрече. И, хотя на словах его отношение к интеллигенции оставалось недоверчивым, враждебным, – на деле он всегда правильно оценивал значение интеллектуальной энергии в процессе революций и как будто соглашался с тем, что, в сущности, революция является взрывом именно этой энергии, не нашедшей для себя в изжитых и тесных условиях возможности закономерного развития.

Помню, я был у него с тремя членами Академии наук[11]. Шёл разговор о необходимости реорганизации одного из высших научных учреждений Петербурга. Проводив учёных, Ленин удовлетворённо сказал:

– Это я понимаю. Это – умники. Всё у них просто, всё сформулировано строго, сразу видишь, что люди хорошо знают, чего хотят. С такими работать – одно удовольствие. Особенно понравился мне этот...

Он назвал одно из крупных имён русской науки, а через день уже говорил мне по телефону:

– Спросите С., пойдёт он работать с нами?

И когда С. принял предложение, это искренно обрадовало Ленина, потирая руки, он шутил:

– Вот так, одного за другим, мы перетянем всех русских и европейских Архимедов, тогда мир, хочет не хочет, а – перевернётся!

На 8 съезде партии Н. И. Бухарин, между прочим, сказал:

– Нация – значит буржуазия вместе с пролетариатом. Ни с чем не сообразно признавать право на самоопределение какой-то презренной буржуазии.

– Нет, извините, – возразил Ленин, – это сообразно с тем, что есть. Вы ссылаетесь на процесс дифференциации пролетариата от буржуазии, но – посмотрим ещё, как оно пойдёт.

Затем, показав на примере Германии, как медленно и трудно развивается процесс этой дифференциации, и упомянув, что «не путём насилия внедряется коммунизм», – он так высказался по вопросу о значении интеллигенции в промышленности, армии и кооперации. Цитирую по отчёту «Известий» о прениях на съезде:

«Этот вопрос на предстоящем съезде должен быть решён с полной определённой. Мы можем построить коммунизм лишь тогда, когда средства буржуазной науки и техники сделают его более доступным массам.

А для этого надо взять аппарат от буржуазии, надо привлечь к работе всех специалистов. Без буржуазных специалистов нельзя поднять производительной силы. Их надо окружить атмосферой товарищеского сотрудничества, рабочими комиссарами, коммунистами, поставить в такие условия, чтобы они не могли вырваться, но надо дать возможность работать им лучше, чем при капиталистах, ибо этот слой, воспитанный буржуазией, иначе работать не станет. Заставить работать из-под палки целый слой нельзя. Буржуазные специалисты привыкли к культурной работе, они двигали её в рамках буржуазного строя, то есть обогащали буржуазию огромными материальными предприятиями и в ничтожных дозах уделали её для пролетариата. Но

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy.moscow.ru

они всё-таки двигали культуру – в этом их профессия. Поскольку они видят, что рабочий класс не только ценит культуру, но и помогает проведению её в массах, они меняют своё отношение к нам. Тогда они будут поработаны морально, а не только политически устранены от буржуазии. Надо вовлечь их в наш аппарат, а для этого надо иногда и на жертвы идти. По отношению к специалистам мы не должны придерживаться системы мелких придирок. Мы должны дать им как можно более хорошие условия существования. Это будет лучшая политика. Если вчера мы говорили о легализации мелкобуржуазных партий, а сегодня арестовывали меньшевиков и левых эс-эров, то через эти колебания всё же идёт одна самая твёрдая линия: контрреволюцию отсекают, культурно-буржуазный аппарат использовать».

В этих прекрасных словах великого политика гораздо больше живого, реального смысла, чем во всех воплях мещанского, бессильного и, в сущности, лицемерного «гуманизма». К сожалению, многие из тех, кто должен был понять и оценить этот призыв к честному труду вместе с рабочим классом, – не поняли, не оценили призыва. Они предпочли вредительство из-за угла, предательство.

После отмены крепостного права многие из «дворовых людей», холопов по натуре, тоже оставались служить своим господам в тех же конюшнях, где, бывало, господа драли их.

Мне часто приходилось говорить с Лениным о жестокости революционной тактики и быта.

– Чего вы хотите? – удивлённо и гневно спрашивал он. – Возможна ли гуманность в такой небывало свирепой драке? Где тут место мягкосердечию и великодушию? Нас блокирует Европа, мы лишены ожидавшейся помощи европейского пролетариата, на нас, со всех сторон, медведем лезет контрреволюция, а мы – что же? Не должны, не в праве бороться, сопротивляться? Ну, извините, мы не дурачки. Мы знаем: то, чего мы хотим, никто не может сделать, кроме нас. Неужели вы допускаете, что, если б я был убеждён в противном, я сидел бы здесь?

– Какою мерой измеряете вы количество необходимых и лишних ударов в драке? – спросил он меня однажды после горячей беседы. На этот простой вопрос я мог ответить только лирически. Думаю, что иного ответа – нет.

Я очень часто одолевал его просьбами различного рода и порою чувствовал, что мои ходатайства о людях вызывают у Ленина жалость ко мне. Он спрашивал:

– Вам не кажется, что вы занимаетесь чепухой, пустяками?

Но я делал то, что считал необходимым, и косые, сердитые взгляды человека, который знал счёт врагов пролетариата, не отталкивали меня. Он сокрушённо качал головой и говорил:

– Компрометируете вы себя в глазах товарищей, рабочих.

А я указывал, что товарищи, рабочие, находясь «в состоянии запальчивости и раздражения», нередко слишком легко и «просто» относятся к свободе, к жизни ценных людей и что, на мой взгляд, это не только компрометирует честное, трудное дело революции излишней, порою и бессмысленной жестокостью, но объективно вредно для этого дела, ибо отталкивает от участия в нём немалое количество крупных сил.

– Гм-гм, – скептически ворчал Ленин и указывал мне на многочисленные факты измены интеллигенции рабочему делу.

– Между нами, – говорил он, – ведь многие изменяют, предательствуют не только из трусости, но из самолюбия, из боязни сконфузиться, из страха, как бы не пострадала возлюбленная теория в её столкновении с практикой. Мы этого не боимся. Теория, гипотеза для нас не есть нечто «священное», для нас это – рабочий инструмент.

И всё-таки я не помню случая, когда бы Ильич отказал в моей просьбе. Если же случалось, что они не исполнялись, это было не по его вине, а, вероятно, по силе тех «недостатков механизма», которыми всегда изобиловала неуклюжая машина русской государственности. Допустимо и чьё-то злое нежелание облегчить судьбу ценных людей, спасти их жизнь. Возможно и здесь «вредительство», враг циничен

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy.moscow.ru
так же, как хитёр. Мсть и злоба часто действуют по инерции. И, конечно, есть маленькие, психически нездоровые люди с болезненной жадой наслаждаться страданиями ближних.

Однажды он, улыбаясь, показал мне телеграмму:

«Опять арестовали скажите чтобы выпустили».

Подписано: Иван Вольный.

– Я читал его книгу, – очень понравилась. Вот в нём я сразу по пяти словам чувствую человека, который понимает неизбежность ошибок и не сердится, не лезет на стену из-за личной обиды. А его арестуют, кажется, третий раз. Вы бы посоветовали ему уехать из деревни, а то ещё убьют. Его, видимо, не любят там. Посоветуйте. Телеграммой.

Нередко меня очень удивляла готовность Ленина помочь людям, которых он считал своими врагами, и не только готовность, а и забота о будущем их. Так, например, одному генералу, учёному, химику, угрожала смерть.

– Гм-гм, – сказал Ленин, внимательно выслушав мой рассказ. – Так, по-вашему, он не знал, что сыновья спрятали оружие в его лаборатории? Тут есть какая-то романтика. Но – надо, чтоб это разобрал Дзержинский, у него тонкое чутьё на правду.

Через несколько дней он говорил мне по телефону в Петроград:

– А генерала вашего – выпустим, – кажется, уже и выпустили. Он что хочет делать?

– Гомоземлюсью...

– Да, да – карболку какую-то! Ну вот, пусть варит карболку. Вы скажите мне, чего ему надо...

И для того, чтоб скрыть стыдливую радость спасения человека, Ленин прикрывал радость иронией.

Через несколько дней он снова спрашивал:

– А как – генерал? Устроился?

В 19 году в петербургские кухни являлась женщина, очень красивая, и строго требовала:

– Я княгиня Ч., дайте мне кость для моих собак!

Рассказывали, что она, не стерпев унижения и голода, решила утопиться в Неве, но будто бы четыре собаки её, почуяв недобрый замысел хозяйки, побежали за нею и своим воем, волнением заставили её отказаться от самоубийства.

Я рассказал Ленину эту легенду. Поглядывая на меня искоса, снизу вверх, он всё прищуривал глаза и наконец, совсем закрыв их, сказал угрюмо:

– Если это и выдуманно, то выдуманно неплохо. Шуточка революции.

Помолчал. Встал и, перебирая бумаги на столе, сказал задумчиво:

– Да, этим людям туго пришлось, история – мамаша суровая и в деле возмездия ничем не стесняется. Что ж говорить? Этим людям плохо. Умные из них, конечно, понимают, что вырваны с корнем и снова к земле не прирастут. А трансплантация, пересадка в Европу, умных не удовлетворит. Не вживутся они там, как думаете?

– Думаю – не вживутся.

– Значит – или пойдут с нами, или же снова будут хлопотать об интервенции.

Я спросил: кажется мне это, или действительно он жалеет людей?

– Умных – жалею. Умников мало у нас. Мы – народ по преимуществу талантливый, но ленивого ума.

И, вспомнив некоторых товарищей, которые изжили классовую зоопсихологию, работают с «большевиками», он удивительно ласково заговорил о них.

Человек изумительно сильной воли, Ленин в высшей степени обладал качествами, свойственными лучшей революционной интеллигенции, – самоограничением, часто восходящим до самоистязания, самоуродования, до рахметовских гвоздей, отрицания искусства, до логики одного из героев Л. Андреева:

«Люди живут плохо – значит, я тоже должен плохо жить».

В тяжёлом, голодном 19 году Ленин стыдился есть продукты, которые присылали ему товарищи, солдаты и крестьяне из провинции. Когда в его неуютную квартиру приносили посылки, он морщился, конфузился и спешил раздать муку, сахар, масло больным или ослабевшим от недоедания товарищам. Приглашая меня обедать к себе, он сказал:

– Копчёной рыбой угощу – прислали из Астрахани.

И, нахмутив сократовский лоб, скосив в сторону всевидящие глаза, добавил:

– Присылают, точно барину! Как от этого отвадишь? Отказаться, не принять – обидишь. А кругом все голодают.

Неприхотливый, чуждый привычки к вину, табаку занятый с утра до вечера сложной, тяжёлой работой, он совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Сидит за столом у себя в кабинете, быстро пишет и говорит, не отрывая пера от бумаги:

– Здравствуйте, как здоровье? Я сейчас кончу. Тут один товарищ, в провинции, скучает, видимо – устал. Надо поддержать. Настроение – немалая вещь!

Как-то в Москве прихожу к нему, спрашивает:

– Обедали?

– Да.

– Не сочиняете?

– Свидетели есть, – обедал в кремлёвской столовой.

– Я слышал – скверно готовят там.

– Не скверно, а – могли бы лучше.

Он тотчас же подробно допросил: почему плохо, как может быть лучше?

И начал сердито ворчать:

– Что же они там, умелого повара не смогут найти? Люди работают буквально до обморока, их нужно кормить вкусно, чтобы они ели больше. Я знаю, что продуктов мало и плохи они, – тут нужен искусный повар. – И – процитировал рассуждение какого-то гигиениста о роли вкусных приправ в процессе питания и пищеварения. Я спросил:

– Как это вы успеваете думать о таких вещах?

Он тоже спросил:

– О рациональном питании?

И тоном своих слов дал мне понять, что мой вопрос неуместен.

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru

Старый знакомый мой, П. А. Скороходов, тоже сормович, человек мягкой души, жаловался на тяжесть работы в Чеке. Я сказал ему:

– И мне кажется, что это не ваше дело, не по характеру вам.

Он грустно согласился:

– Совсем не по характеру.

Но, подумав, сказал:

– Однако вспомнишь, что ведь Ильичу тоже, наверное, частенько приходится держать душу за крылья, и – стыдно мне слабости своей.

Я знал и знаю немало рабочих, которым приходилось и приходится, крепко сжав зубы, «держать душу за крылья» – насиловать органический «социальный идеализм» свой ради торжества дела, которому они служат.

Приходилось ли самому Ленину «держать душу за крылья»?

Он слишком мало обращал внимания на себя для того, чтобы говорить о себе с другими, он, как никто, умел молчать о тайных бурях в своей душе. Но однажды, в Горках, лаская чьих-то детей, он сказал:

– Вот эти будут жить уже лучше нас; многое из того, чем жили мы, они не испытают. Их жизнь будет менее жестокой.

И, глядя в даль, на холмы, где крепко осела деревня, он добавил раздумчиво:

– А всё-таки я не завидую им. Нашему поколению удалось выполнить работу, изумительную по своей исторической значительности. Вынужденная условиями, жестокость нашей жизни будет понята и оправдана. Всё будет понята, всё!

Детей он ласкал осторожно, какими-то особенно лёгкими и бережными прикосновениями.

Как-то пришёл к нему и – вижу: на столе лежит том «Войны и мира».

– Да, Толстой! Захотелось прочитать сцену охоты, да вот, вспомнил, что надо написать товарищу. А читать – совершенно нет времени. Только сегодня ночью прочитал вашу книжку о Толстом.

Улыбаясь, прижмурив глаза, он с наслаждением вытянулся в кресле и, понизив голос, быстро продолжал:

– Какая глыба, а? Какой матёрый человечище! Вот это, батенька, художник... И – знаете, что еще изумительно? До этого графа подлинного мужика в литературе не было.

Потом, глядя на меня прищуренными глазками, спросил:

– Кого в Европе можно поставить рядом с ним?

Сам себе ответил:

– Некого.

И, потирая руки, засмеялся, довольный.

Я нередко подмечал в нём черту гордости Россией, русскими, русским искусством. Иногда эта черта казалась мне странно чуждой Ленину и даже наивной, но потом я научился слышать в ней отзвук глубоко скрытой, радостной любви к рабочему народу.

На Капри он, глядя, как осторожно рыбаки распутывают сети, изорванные и спутанные акулой, заметил:

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiymaxim.ru

– Наши работают бойчее.

А когда я выразил сомнение по этому поводу, он, не без досады, сказал:

– Гм-гм, а не забываете вы России, живя на этой шишке?

В. А. Десницкий-Строев сообщил мне, что однажды он ехал с Лениным по Швеции, в вагоне, и рассматривал немецкую монографию о Дюрере.

Немцы, соседи по купе, его спросили, что это за книга. В дальнейшем оказалось, что они ничего не слышали о своём великом художнике. Это вызвало почти восторг у Ленина, и дважды, с гордостью, он сказал Десницкому:

– Они своих не знают, а мы знаем.

Как-то вечером, в Москве, на квартире Е. П. Пешковой, Ленин, слушая сонаты Бетховена в исполнении Исаия Добровейн, сказал:

– Ничего не знаю лучше «Аpassionata», готов слушать её каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!

И, прищурясь, усмехаясь, он прибавил невесело:

– Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя – руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, – должность адски трудная!

Сам почти уже больной, очень усталый, он писал мне 9.VIII.1921 года:

А. М.!

Переслал Ваше письмо Л. Б. Каменеву. Я устал так, что ничегошеньки не могу. А у Вас кровохарканье и Вы не едете!! Это ей-же-ей и бессовестно и не расчётливо. В Европе, в хорошей санатории будете и лечиться и втрое больше дело делать. Ей-ей. А у нас – ни леченья, ни дела, одна суетня, зряшняя суетня. Уезжайте, вылечитесь. Не упрямитесь, прошу Вас!

Ваш Ленин.

Он больше года с поразительным упрямством настаивал, чтоб я уехал из России, и меня удивляло: как он, всецело поглощённый работой, помнит о том, что кто-то, где-то болен, нуждается в отдыхе?

Таких писем, каково приведённое, он написал разным людям, вероятно, десятки.

Я уже говорил о его совершенно исключительном отношении к товарищам, о внимании к ним, которое проницательно догадывалось даже о неприятных мелочах их жизни. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам.

Нет, это было именно сердечное внимание истинного товарища, чувство любви равного к равным. Я знаю, что между Владимиром Лениным и даже крупнейшими людьми его партии невозможно поставить знака равенства, но сам он этого как бы не знал, а вернее – не хотел знать. Он был резок с людьми, споря с ними, безжалостно высмеивал, даже порою ядовито издевался – всё это так.

Но сколько раз в его суждениях о людях, которых он вчера распинал и «разносил», я совершенно ясно слышал ноты искреннего удивления пред талантами и моральной стойкостью этих людей, пред их упорной и тяжёлой работой адовых условий 1918–1921 годов, работой в окружении шпионов всех стран и партий, среди заговоров, которые гнилыми нарывами вздувались на истощённом войною теле страны. Работали – без отдыха, ели мало и плохо, жили в непрерывной тревоге.

Но сам Ленин как будто не испытывал тяжести этих условия и тревог жизни,

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy@mail.ru
потрясённой до самых глубочайших основ своей кровавой бурей гражданской распри.
И только один раз, в беседе с М. Ф. Андреевой, у него, по её словам, вырвалось
что-то подобное жалобе:

– Что же делать, милая Мария Федоровна? Надо бороться. Необходимо! Нам тяжело?
Конечно! Вы думаете: мне тоже не бывает трудно? Бывает – и ещё как! Но –
смотрите на Дзержинского, – на что стал похож он! Ничего не поделаешь! Пусть
лучше нам будет тяжело, только бы одолеть!

Лично я слышал от него лишь одну жалобу:

– Жаль – Мартова нет с нами, очень жаль! Какой это удивительный товарищ, какой
чистый человек!

Помню, как весело и долго хохотал он, прочитав где-то слова Мартова:

«В России только два коммуниста: Ленин и Коллонтай».

А посмеявшись, сказал, со вздохом:

– Какая умница! Эх...

Именно с уважением и удивлением он сказал, проводив из кабинета одного товарища
«хозяйственника»:

– Вы давно знаете его? Он был бы во главе кабинета министров любой европейской
страны.

И, потирая руки, посмеиваясь, добавил:

– Европа беднее нас талантливыми людьми.

Я предложил ему съездить в Главное артиллерийское управление посмотреть
изобретённый одним большевиком, бывшим артиллеристом[12], аппарат,
корректирующий стрельбу по аэропланам.

– А что я в этом понимаю? – спросил он, но – поехал. В сумрачной комнате, вокруг
стола, на котором стоял аппарат, собралось человек семь хмурых генералов, все
седые, усатые старики, учёные люди. Среди них скромная штатская фигура Ленина
как-то потерялась, стала незаметной. Изобретатель начал объяснять конструкцию
аппарата. Ленин послушал его минуты две, три, одобрительно сказал:

– Гм-гм! – и начал спрашивать изобретателя так же свободно, как будто
экзаменовал его по вопросам политики:

– А как достигнута вами одновременно двойная работа механизма, устанавливающая
точку прицела? И нельзя ли связать установку хоботов орудий автоматически с
показаниями механизма?

Спрашивал про объём поля поражения и ещё о чём-то, – изобретатель и генералы
оживлённо объясняли ему, а на другой день изобретатель рассказывал мне:

– Я сообщил моим генералам, что придёте вы с товарищем, но умолчал, кто –
товарищ. Они не узнали Ильича, да, вероятно, и не могли себе представить, что он
явится без шума, без помпы, охраны. Спрашивают: это техник, профессор? Ленин?
Страшно удивились – как? Не похоже! И – позвольте! – откуда он знает наши
премудрости? Он ставил вопросы как человек технически сведущий! Мистификация! –
Кажется, так и не поверили, что у них был именно Ленин...

А Ленин, по дороге из ГАУ, возбуждённо похохатывал и говорил об изобретателе:

– Ведь вот как можно ошибаться в оценке человека! Я знал, что это старый честный
товарищ, но – из тех, что звёзд с неба не хватают. А он как раз именно на это и
оказался годен. Молодчина! Нет, генералы-то как окрысились на меня, когда я
выразил сомнение в практической ценности аппарата! А я нарочно сделал это, –
хотелось знать, как именно они оценивают эту остроумную штуку.

Залился смехом, потом спросил:

– Говорите, у И. есть ещё изобретение? В чём дело? Нужно, чтоб он ничем иным не занимался. Эх, если б у нас была возможность поставить всех этих техников в условия идеальные для их работы! Через двадцать пять лет Россия была бы передовой страной мира!

Да, часто слышал я его похвалы товарищам. И даже о тех, кто – по слухам – не пользовался его личными симпатиями, Ленин умел говорить, воздавая должное их энергии.

Я был очень удивлён его высокой оценкой организаторских способностей Л. Д. Троцкого, – Владимир Ильич подметил моё удивление.

– Да, я знаю, о моих отношениях с ним что-то врут. Но – что есть – есть, а чего нет – нет, это я тоже знаю. Он вот сумел организовать военных спецов.

Помолчав, он добавил потише и невесело:

– А всё-таки не наш! С нами, а – не наш. Честолюбив. И есть в нём что-то... нехорошее, от Лассаля...

Эти слова: «С нами, а – не наш» я слышал от него дважды, второй раз они были сказаны о человеке тоже крупном. Он умер вскоре после Владимира Ильича. Людей Владимир Ильич чувствовал, должно быть, очень хорошо. Как-то, входя в его кабинет, я застал там человека, который, пятясь к двери задом, раскланивался с Владимиром Ильичом, а Владимир Ильич, не глядя на него, писал.

– Знаете этого? – спросил он, показав пальцем на дверь; я сказал, что раза два обращался к нему по делам «Всемирной литературы».

– И – что?

– Могу сказать: невежественный и грубый человек.

– Гм-гм... Подхалим какой-то. И, вероятно, жулик. Впрочем, я его первый раз вижу, может быть, ошибаюсь.

Нет, Владимир Ильич не ошибся; через несколько месяцев человек этот вполне оправдал характеристику Ленина.

О людях он думал много, обеспокоенный тем, что, по его словам:

– Аппарат у нас – пёстренький, после Октября много влезло в него чужих людей. Это – по вине благочестивой и любимой вами интеллигенции, это – следствие её подлого саботажа, да-с!

Это он говорил, гуляя со мною в Горках. Не помню, почему я заговорил об Алексинском^[13] кажется, он выкинул в это время какую-то дрянную штуку.

– Можете представить – с первой же встречи с ним у меня явилось к нему чисто физическое отвращение. Непобедимое. Никогда, никто не вызывал у меня такого чувства. Приходилось вместе работать, всячески одёргивал себя, неловко было, а – чувствую: не могу я терпеть этого выродка!

И, удивлённо пожав плечами, сказал:

– А вот негодяя Малиновского не мог раскусить. Очень это тёмное дело, Малиновский...^[14]

Его отношение ко мне было отношением строгого учителя и доброго «заботливого друга».

– Загадочный вы человек, – сказал он мне шутливо, – в литературе как будто хороший реалист, а в отношении к людям – романтик. У вас все – жертвы истории? Мы знаем историю, и мы говорим жертвам: опрокидывайте жертвенники, ломайте храмы, долой богов! А вам хочется убедить меня, что боевая партия рабочего класса обязана прежде всего удобно устроить интеллигентов.

Может быть, я ошибаюсь, но мне казалось, что беседовать со мною Владимиру Ильичу было приятно. Он почти всегда предлагал:

– Приедете – позвоните, повидаемся.

А однажды сказал:

– Потолковать с вами всегда любопытно, у вас разнообразнее и шире круг впечатлений.

Распрашивал о настроении интеллигенции, особенно внимательно об учёных, – я в то время работал с А. Б. Халатовым в «Комиссии по улучшению быта учёных». Интересовался пролетарской литературой:

– Чего вы ждёте от неё?

Я говорил, что жду много, но считаю совершенно необходимым организацию литвуза с кафедрами по языкознанию, иностранным языкам – Запада и Востока, – по фольклору, по истории всемирной литературы, отдельно – русской.

– Гм-гм, – говорил он, прищуриваясь и похихатывая. – Широко и ослепительно! Что широко – я не против, а вот – ослепительно будет, а? Своих-то профессоров у нас нет по этой части, а буржуазные такую историю покажут... Нет, сейчас нам этого не поднять. Годика три, пяток подождать надо.

И жаловался:

– Читать – совершенно нет времени!

Усиленно и неоднократно подчёркивал агитационное значение работы Демьяна Бедного, но говорил:

– Грубоват. Идёт за читателем, а надо быть немножко впереди.

К Маяковскому относился недоверчиво и даже раздражённо:

– Кричит, выдумывает какие-то кривые слова, и всё у него не то, по-моему, – не то и мало понятно. Рассыпано всё, трудно читать. Талантлив? Даже очень? Гм-гм, посмотрим! А вы не находите, что стихов пишут очень много? И в журналах целые страницы стихов, и сборники выходят почти каждый день.

Я сказал, что тяготение молодежи к песне – естественно в такие дни и что – на мой взгляд – посредственные стихи легче писать, чем хорошую прозу, и времени требуют стихи – меньше; к тому же у нас очень много хороших учителей по технике стихосложения.

– Ну, что стихи легче прозы – я не верю! Не могу представить. С меня хоть кожу сдерите – двух строчек не напишу, – сказал он и нахмурился. – В массу надобно двинуть всю старую революционную литературу, сколько её есть у нас и в Европе.

Он был русский человек, который долго жил вне России, внимательно разглядывал свою страну, – издали она кажется красочнее и ярче. Он правильно оценил потенциальную силу её – исключительную талантливость народа, ещё слабо выраженную, не возбуждённую историей, тяжёлой и нудной, но талантливость всюду, на тёмном фоне фантастической русской жизни блестящую золотыми звёздами.

Владимир Ленин, большой, настоящий человек мира сего, – умер. Эта смерть очень больно ударила по сердцам тех людей, кто знал его, очень больно!

Но чёрная черта смерти только ещё резче подчеркнёт в глазах всего мира его значение, – значение вождя всемирного трудового народа.

И если б туча ненависти к нему, туча лжи и клеветы вокруг имени его была ещё более густа – всё равно: нет сил, которые могли бы затемнить факел, поднятый Лениным в душной тьме обезумевшего мира.

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiy.ucoz.ru

И не было человека, который так, как этот, действительно заслужил в мире вечную память.

Владимир Ленин умер. Наследники разума и воли его – живы. Живы и работают так успешно, как никто, никогда, нигде в мире не работал.

Примечания

1

1907 г. – Ред.

2

впоследствии Горький вспомнил, что встречался с Лениным в Петербурге в ноябре 1905 г. – Ред.

3

т. е. последователь субъективно-идеалистического учения Эрнста Маха, утверждавшего, что решение основного вопроса философии (вопроса о познании мира) является принципиально невозможным из-за того, что мы можем познавать только свои ощущения от элементов мира – Ред.

4

на самом деле, Горький встречался с Лениным в Париже весной 1911 г., после Капри – Ред.

5

конституционно-демократическая партия, главная партия контрреволюционной либерально-монархической буржуазии в России – Ред.

6

«союз 17 октября», консервативно-либеральная партия. Октябристы выступали за установление в России конституционно-монархического строя на основе царского манифеста от 17.10.1905, 2-палатное народное представительство, введение демократических свобод (совести, слова, печати, собраний, союзов) и гражданского равенства полов – Ред.

7

Ленин действительно был у Горького на Капри два раза: в апреле 1908 г. и летом 1910 г. – Ред.

8

В. И. Ленин. «Апрельские тезисы» – Ред.

9

съезд деревенской бедноты Северной области проходил в Петрограде в ноябре 1918 г. – Ред.

10

Всероссийское учредительное собрание, альтернативный центр власти, разогнанный большевиками в ноябре 1917 г. – Ред.

11

27 января 1921 г. – Ред.

12

А. М. Игнатьевым – Ред.

В. И. Ленин. Максим Горький gorkiymaxim.ru

13

Г. А., видный революционер, меньшевик. Первый заявил, что большевики, в том числе В. И. Ленин, – агенты германского Генерального штаба – Ред.

14 Член ЦК РСДРП, депутат IV Государственной думы, председатель думской большевистской фракции и в то же время сексотрудник московской охраны и департамента полиции, провокатор. Разоблачен только после февральской революции 1917 г. – Ред.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> Форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> Философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!